Даниэль Орлов

Что-то из детства

Часть сборника
Трава была зеленее, или
Писатели о своем детстве

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«До ремонта у меня в прихожей стояло огромное толстое зеркало, в высоту больше двух с половиной метров и где-то полутора метров в ширину. Зеркало это я не любил. Не знаю, почему не любил. Наверное, мне казалось, что в нем до сих пор отражается моя детская кроватка, стоящая рядом с пианино. Когда я причесывался перед зеркалом или рассматривал появляющиеся в усах седые волосы, я замечал ту кроватку краем глаза, и меня это раздражало. Я уже вырос, уже успел потолстеть несколько раз и похудеть обратно, я уже был женат, развелся и женился во второй или в третий раз. Я успел стать самим собой, каким я себя знаю, а кроватка все никак не желала из зеркала исчезать…»

- Даниэль Орлов
  - ○

Даниэль Орлов
Что-то из детства

До ремонта у меня в прихожей стояло огромное толстое зеркало, в высоту больше двух с половиной метров и где-то полутора метров в ширину. Зеркало это я не любил. Не знаю, почему не любил. Наверное, мне казалось, что в нем до сих пор отражается моя детская кроватка, стоящая рядом с пианино. Когда я причесывался перед зеркалом или рассматривал появляющиеся в усах седые волосы, я замечал ту кроватку краем глаза, и меня это раздражало. Я уже вырос, уже успел потолстеть несколько раз и похудеть обратно, я уже был женат, развелся и женился во второй или в третий раз. Я успел стать самим собой, каким я себя знаю, а кроватка все никак не желала из зеркала исчезать.

По утрам, когда просыпается только та часть сознания, которая ответственна за водные процедуры и завтрак, кроватка удерживала в себе мое инфантильное существо, согревая маленьким пуховым одеялом в расшитом бабушкой Раисой пододеяльнике. Думаю, что случайные сквозняки, с визгом влетавшие в мой дом, вдоволь потешались над моим отражением.

А потом начался этот ремонт. Большой ремонт с заменой полов, потолков, стен, с ревизией утлого скарба домовых, отправленных на курсы повышения квалификации. Зеркало я не вывез вместе со всей мебелью и книгами, а оставил в той части квартиры, что раньше называлась прихожей. Оно стояло, завешенное тряпкой, и показывало только изнанку этой тряпки, пока его не вынесли на лестничную площадку. Перед дверью монтировали пол с подогревом, и оно мешало. Его вынесли утром, а ночью оно ушло. Никто из соседей не видел, чтобы его кто-то забирал, никто не слышал ни шарканья ног, не шепота «осторожнее, козел, о перила не побей!». Видимо, оно ушло само. Ушло вместе с отражением моей детской кроватки, стоящей возле старого расстроенного пианино «Offenbaher», вместе с теплым одеялом, хранящим мои детские сны, и скрипом половицы где-то в углу возле бабушкиного кресла.

Прошло уже больше года, а жаль мне его стало только сейчас. Нет, не зеркало, – бог-то с ним… Мне жаль это отражение, что можно было различить только краем глаза, если не зажигать в прихожей свет.

Я жил в этой квартире на Петроградской стороне до четырех

лет, пока году в семьдесят четвертом родители не получили вожделенный кооператив в новостройках. Младенческие впечатления фрагментарны, но ярки, как римская мозаика. Помню, как играл с красными пластмассовыми солдатиками в садике напротив дома политкаторжан. Краем глаза за мной прислеживал папа. Он сидел на стандартной белой садовой скамейке из толстого штакетника и читал «вечерку». Мимо проходил поэт Сергей Орлов, который жил рядом с нами в соседнем доме. Я в который раз испугался его обгорелого лица и спрятался в куст сирени, где разнылся. Поэт посмотрел на меня мельком, и я увидел его грустные глаза. Папа долго выковыривал меня из веток, а потом гулял со мной за руку по Петровской набережной и рассказывал мне, что поэт Сергей Орлов – герой, что он горел в танке, а врачи не смогли спасти его лицо, что даже если боишься, то не надо это показывать, что если я буду смелым, то он возьмет меня с собой в экспедицию. Я живо представил себе «э-к-с-п-е-д-и-ц-и-ю», как огромный вагон на велосипедных колесах, который путешествует по лесной дороге. И сразу захотел стать смелым и отважным геологом, как папа.

Кстати, о соседях. Очень хорошо помню актера Кадочникова. Он тоже был нашим соседом. Моя бабушка подолгу беседовала с женой Павла Петровича по телефону, а с его сыном Петей с детства дружила мама. Меня иногда водили к ним в гости, где я играл с Петиной дочкой, пока родители общались. Закрою глаза и вижу ярко-золотой, от бьющего в окна солнца, паркет, по которому я ползал и катал пластмассовый грузовик. Почему-то запомнилось, что Павел Петрович очень строгий. Думаю, что это все его внучка. Один двухлетний человек говорил другому двухлетнему человеку: «Дедушка – строгий». И это очень серьезно.

Кроме паркета и смеха родителей, с того периода не запомнилось ничего. Потом Петя Кадочников перевозил нас на новую квартиру на своей огромной машине (ЗИМ или ЗИС) и помогал таскать кипы папиных книг на одиннадцатый этаж без лифта. Лифт в доме включили где-то через полгода.

Помню красные плавки режиссера Бондарчука. Когда он приезжал в Ленинград снимать на «Ленфильме» очередную картину, то всегда купался на Петропавловке. Бондарчук был моржом, и, когда он вылезал из полыньи, от него шел пар. Мне в голову всегда приходило словосочетание: ледокол «Красин». Мама говорила, что ледокол «Красин» – это такой пароход, который спасал экспедицию Нобеля. Но Нобеля я не знал, а Бондарчука видел практически каждый день, поскольку гулять

меня водили именно туда.

Помню «икарусы». Самые первые венгерские «икарусы», не те, что сейчас, и не те, что были до самого последнего времени – гепатитного цвета. А с синей полосой вдоль всего борта. Они ездили по Кировскому проспекту, а я возле памятника Горькому лепил снежную бабу с родителями. Однажды баба получилась удивительно высокая. На ее голову мы водрузили синюю ночную вазу, а вместо носа воткнули ножку от стула. «Икарусы» останавливались на светофоре перед проспектом Максима Горького, пассажиры все как один смотрели на нашего истукана. Я был очень горд. Это была гордость ваятеля перед своим творением.

Но чаще всего зимой мы гуляли возле памятника «Стерегущему». От самого памятника накатывалась ледяная горка, с которой было замечательно съезжать на разноцветных дощечках. Эти дощечки добывались из гофрированной пластмассы, которой накрывались качели в парке. Конечно, мы ничего не ломали. Ломали неизвестные «большие мальчишки» до нас, а потом эти дощечки валялись вокруг памятника. Помню, как стыли щеки на морозе и как сверкал воздух. Так он только в детстве сверкает, потом с воздухом что-то происходит, и он тускнеет. Кстати, мне очень нравилось рассматривать бронзовый барельеф с тонущим кораблем, который крепился на памятнике со стороны парка. Я все порывался спасти кораблик, тянул его руками в варежках. Однако кораблик не спасался. Папа объяснял мне, что это произошло очень давно, что это не настоящее сражение, а как фотография, что изменить что-то невозможно. Возможно, тогда ко мне и пришло чувство времени – времени, которое было до моего рождения.

Напротив садика «Ленфильма» находился продуктовый магазин, который прозвали «Голливуд». О том, что такое это слово, я, конечно, в то время не знал. В киностудию вход был не так, как сейчас (меж колонн под портик), а сбоку под козырек. Это было похоже на проходную какого-то института, только очень странного, потому что из нее выходили то былинные витязи, то эсэсовцы в форме с дубовыми листьями, то вообще какие-то явные интуристы из шпионско-гангстерских фильмов. Вся эта гвардия переходила проспект и устремлялась в гастроном. Видеть всамделишного богатыря, покупающего триста грамм «Любительской» колбасы, завернутой в белую плотную бумагу, было верхом блаженства. Полагаю, что это зрелище расширяло мое младенческое сознание и, опять же, добавляло уже нечто

эзотерическое к пониманию времени.

Однажды мы с родителями видели Высоцкого, который ловил возле светофора такси. Меня как раз выводили из парадной на прогулку. У нас в доме постоянно крутились бобины с его хриплыми мужественными песнями. Но Высоцкий оказался совсем не таким, каким я его себе представлял – седым, мускулистым, бородатым, с изрезанными морщинами лицом и смеющимися глазами. Он оказался намного ниже папы, худым и с дурацкой прической. Если бы не мама, которая сказала папе: «Смотри, Высоцкий!», я бы этого дядечку и не заметил, поскольку на нем не было интересных для меня доспехов, военной формы или еще чего-нибудь примечательного. Такси упорно не останавливались. Родители несколько минут смотрели за безуспешными попытками, пока я не начал канючить и меня не взяли за руки и не повели куда-то в сторону Горьковской. А бородатый, седой дядька, портрет которого висел у нас над пианино, оказался впоследствии Хемингуэем. В первом классе я прочел «Старик и море», и мне не понравилось. В седьмом классе я прочел «Рог быка», и мне опять не понравилось, в девятом, когда болел скарлатиной, прочел «По ком звонит колокол» и решил больше Хемингуэя не читать. А недавно открыл, и стало как-то не оторваться. Возможно, нужно просто повзрослеть?

Летом в будни мы ходили с бабушкой на пляж Петропавловской крепости загорать. Бабушка сидела на песке в большой соломенной шляпе, в черных очках и читала толстенный серый том Соловьева. Лазать в воду мне категорически запрещалось. Песок на пляже, надо сказать, раньше был совсем другой – намытый, крупнозернистый, почти гаревый. Я, как всякая мелюзга, копался в нем, строил всяческие замки и рыл туннели. Железный совок вгрызался в мелкие кристаллики с характерным звуком. Играть одному было хоть интересно, но быстро надоедало, и я постоянно теребил бабушку, приглашая ее к участию. Вообще, с моей бабушкой было не забаловать. Она работала администратором в ресторане «Восток» и привыкла, что все ей безоговорочно подчинялись. Играть со мной она не собиралась, потому на какой-то раз обычно предлагала заменить игру на «пойди погуляй». Я самостоятельно бродил по пляжу, с интересом наблюдая за речными трамвайчиками. Впрочем, краем глаза бабушка за мной все же следила. Однажды кто-то утонул в Неве, и вызвали водолаза. Впервые видел я такое чудище с огромной головой и жуткими страшными перчатками. Чудище то опускалось в невскую воду, то появлялось на поверхности. Мне хоть и было страшно, но очень хотелось посмотреть поближе,

потому я поперся в Неву. Бабушкин подзатыльник настиг меня, как блин, пущенный скакать по воде. Помню, как я ревел и тащился за бабушкой через всю Петропавловку. Мне казалось, что все на меня смотрят и дразнят, и от того становилось еще обиднее.

После выхода на пенсию бабушка снималась на «Ленфильме» в массовке. За пятнадцать лет она снялась почти в двух сотнях картин от «Красных колоколов» до «Блондинки за углом». В «Красных колоколах» и я снимался, да там почти все мальчишки нашего класса отметились: бегали на заднем плане и изображали мальчишек-газетчиков в каких-то эпизодах. Целый день бегали. Камера то с одного ракурса, то с другого, огромное количество дублей. В перерывах нас выпускали из павильона, а мы носились по коридорам студии и играли в пятнашки лаптем, который стырили где-то из реквизита. Когда я, притаившись за углом, поджидал своего приятеля, чтобы метнуть в него лаптем, кто-то больно взял меня за ухо.

– Ты тут что делаешь? – спросил характерный хрипловатый голос у меня над ухом.

– В «Красных колоколах» снимаюсь.

– Вот и иди в свои «Колокола». А здесь люди работают.

Мое ухо отпустили, я посмотрел наверх и увидел Дуремара из любимого фильма про Буратино, только во фраке и цилиндре. Он погрозил мне пальцем, забрал у меня из рук лапоть и ушел по коридору. Я почесал ухо, дал щелбана подбежавшему однокласснику Илюхе, и мы отправились в буфет есть бутерброды с твердокопченой колбасой за двадцать копеек. Сниматься мне не понравилось, к тому же я набегался, вспотел, простыл, и у меня начало першить в горле. А может быть, начало оно у меня першить после того, как, получив в кассе гонорар, шесть рублей одиннадцать копеек, мы накупили с одноклассником Илюхой в гастрономе напротив мороженого, лимонада «Саяны» и отправились на Петропавловку. На той скамейке мы съели по три брикета и выпили по две бутылки лимонада. Оставалось еще восемь или десять брикетов. Но есть их мы уже не могли и ходили по пляжу, раздаривая тем, кого встречали. Кажется, был октябрь…

В нашей квартире на стене висел огромный черный эбонитовый телефон. Висел он в коридоре, на перекрестке всех основных квартирных магистралей. Телефон казался пузатым блестящим жуком, ползущим по обоям к потолку, где его ожидает паутина из электрических проводов. Родители мои по телефону

разговаривали редко. У их друзей телефонов не было. Бабушка болтала со своими сестрами, обсуждая какие-то семейные сплетни. А вот соседи с его помощью ежедневно декларировали свой социальный статус.

Колька-моряк звонил куда-то каждое утро и сурово сообщал, что если его будет спрашивать директор пароходства, то он задерживается и машину сегодня можно не присылать.

Тетя Нина по вечерам разговаривала с женихами, от которых, по усталым признаниям моей маме, у нее «нет отбоя, нет продыха». Она набирала почему-то шестизначные номера и радостно щебетала в трубку: «Игореша, мне говорили, что ты сегодня звонил, а я, видать, в соседний отдел выходила», или: «Сашуля, это ты мне сегодня трезвонил все утро? А я спала, не слышала. Как жаль, что соседей никого дома не было», или: «Геночка-кисуля, ну извини, никак не могу с тобой встретиться, совсем меня на работе замордовали».

Но серьезнее всех «выступала» Людмила Романовна, которая часами громко обсуждала нового помрежа картины («Такая дура, такая дура. Не удивлюсь, что ее выгонят через неделю»), нарочито внятно артикулируя фамилии известных актеров. Фамилии эти она повторяла по нескольку раз, чтобы все идущие на кухню и с кухни, в уборную и из уборной прониклись ее значимостью и понимали, что та на «Ленфильме» далеко не последний человек. «И если еще раз такое повторится, я эту Фрейндлих сниму с картины. Она у меня в три счета вылетит!» – грозно выговаривалось невидимой собеседнице.

Однажды, когда, всплеснув руками, Людмила Романовна бросилась на кухню спасать убегающий кофе, я из хулиганских побуждений поднял висящую на проводе трубку и сказал: «Але! Тетя Люда сейчас придет, у нее кофе убежало». Но там уже слышались короткие гудки. Тут соседка возникла в коридоре, подняла трубку к уху и как ни в чем не бывало продолжила: «Так вот, Леночка, про Боярского… Он постоянно приходит на съемки пьяным. Я уже два раза ему замечание делала. Чувствую, что как бы мне это было и неприятно, но лишить его почасовых в этом месяце. Ты так считаешь? Считаешь, что нечего жалеть? Абсолютно, моя дорогая, с тобой согласна!»

Бабушка Таня с подозрением относилась к мясу, что продавали в гастрономах. К курам относилась нормально, особенно после внимательного изучения их экстерьера и допроса с пристрастием продавщиц, а к мясу как-то настороженно. Вообще, в продуктах бабушка понимала как никто другой, поскольку долгое время работала администратором ресторана «Восток». За мясом бабушка, как правило, ходила на Сытный (она

говорила «Ситный») рынок, совмещая этот поход с выгулом ребенка.

Я не особенно любил эти унылые экспедиции, поскольку, в отличие от родителей, бабушка неодобрительно относилась к моим прыжкам через низенькие оградки скверików, шлепанью по лужам и сбору цветных стекол. Я же изнывал от неторопливого и грузного бабушкиного анданте по тротуару, окриков «Прекрати, я тебе сказала!» и «У меня уже от тебя давление поднимается!». Но было одно, что меня примиряло с необходимостью плестись рядом, – венгерский компот…

О, этот венгерский компот в синих жестяных банках! Он всегда продавался в ларьке на рынке справа от входа. Я готов был душу отдать за этот компот, готов был не шалить и не рисовать на скатерти, убирать игрушки в картонную коробку из-под пылесоса и доедать макароны по-флотски на обед, вылизывая тарелку мякишем, лишь бы получить вожделенное лакомство. О, этот звук, с которым бабушка открывала банку, поворачивая блестящий пропеллер трофейной германской открывашки! Ах, этот запах, вырывающийся из банки и сразу отправляющийся прямиком мне в нос, чтобы щекотать где-то аж в глубине ушей! Эти глянцевые, как дедушкины фотоснимки, дольки персиков, падающие на дно прозрачного стакана, эти матовые шарики вишен, эти шершавые на взгляд сливы, подставляющие бока тягучему розоватому сиропу…

Однажды, когда я уже с вожделенным видом ждал десерта, бабушку позвали к телефону. Обтерев банку полотенцем, она поставила ее на стол и легионерским маршем направилась в коридор, где я услышал ее громовое: «Анна? Явилась не запылилась!». По телефону бабушка разговаривала «по-взрослому», то есть минимум сорок минут, успевая за это время перемолоть кости всем родственникам и перемыть кости всем соседям, ничуть не стесняясь их наличия в квартире. Когда бабушка разговаривала, соседи старались даже лишний раз не шмыгать мимо, а лишь сидели за своими дверями, прислонив уши к замочным скважинам. В этот раз она распалилась не на шутку. Окончательно изойдя на слюни гастрономического вожделения, где-то через час я высунул нос в коридор. Тут же абордажным топором в лоб мне влетело бабушкино: «Закрой дверь, не впускай эту вонь в комнату!»

Я сидел, обнявши коленки в огромном «сталинском» кресле перед мутным старинным зеркалом, смотрел на отражение банки компота на столе и недоумевал, как бабушка может променять компот на какой-то телефонный разговор. Я сидел и думал, что когда вырасту, то для меня не будет ничего важнее компота. Это

самая главная важность в мире. Ведь что может быть важнее компота? Ну что? Разве что зефир…

Иногда по выходным мы ездили на трамвае в ЦПКиО. Садились на трамвай возле мечети и ехали по проспекту Максима Горького до улицы Олега Кошевого, где рельсы заворачивали. На самом углу был огромный брандмауэр, на котором висел гигантский плакат с нарисованным бровастым дядечкой и надписью большими буквами. На мой вопрос, кто это такой, папа отвечал что-то непонятное про каких-то секретарей, а потом говорил: «Брежнев». Секретарей я видел на картинках к детской игре, которую мне подарили на Новый год. Игра представляла собой коробку с металлическими пупырышками, батарейкой и лампочкой. На пупырышки нанизывались карточки с изображением всяких птиц, зверей и лягушек. Из недр коробки шли проводки с железными пипетками. Одну пипетку мама ставила на пупырышек у названия животного, которое она читала вслух, а другую пипетку я должен был ткнуть в саму эту зверюгу. Если ответ оказывался правильным, то лампочка загоралась. Так вот, секретарем называлась птица с длинными ногами и важной осанкой. Когда мне исполнилось три года, я как-то неожиданно быстро научился читать. Совершив открытие, что все вывески на окрестных домах имеют ранее скрытый от меня смысл, я захлебывался от владения столь сакральным знанием и читал все подряд. Однажды, когда в очередной раз мы ехали в ЦПКиО, я прочитал, что было написано рядом с бровастым дядечкой, и сразу уличил папу в обмане. Неувязочка с секретарем заставила родителей густо покраснеть и, подхватив меня под мышку, срочно эвакуироваться из трамвая на ближайшей остановке. Их образованное чадо ткнуло пальцем в стекло и заорало: «Это не секретарь! Не секретарь! Это Слава КПСС!»

Мамин папа – мой дедушка Мотя – был настоящим музыкантом. До войны дедушка играл на трубе в цирковом оркестре. По вечерам оркестр сопровождал представления цирка на Фонтанке, а по выходным выступал в ЦПКиО и синематографах. Играли преимущественно джаз, хотя джазом тогда это не называлось. Дедушка дудел в серебряный альт с перламутровыми клапанами, был чертовски красив, голубоглаз и талантлив. Бабушка – женщина простая, по-крестьянски сметливая и уверенная в своей природной неотразимости – заприметила дедушку на выступлении в кинотеатре «Великан». Дождавшись конца вечера, она спровоцировала дедушку на приглашение в Летний сад, спустя неделю в ресторан «Метрополь», а через три месяца в районный ЗАГС.

Через год она покончила с мечтами дедушки поступить в консерваторию и принялась непосредственно за трубу. Трубу дедушка предавать не собирался. Сдерживая бабушкины атаки, он вел позиционные бои, время от времени уезжая на гастроли с джазом Утесова. Все это происходило задолго до моего рождения, однако над детской кроваткой висел групповой портрет худых короткостриженых музыкантов в белых рубашках с воротниками «навыпуск» и пиджаками с острыми лацканами. На мой вопрос: «А кто эти дяди?», дедушка отвечал: «Гениальные трубачи», а бабушка ворчала: «Бездельники».

Когда родился я, дедушка Мотя уже много лет как не играл джаз. Дедушка работал на заводе при НИИ, считался мастером «золотые руки» и на досуге увлекался фотографией. Будучи человеком чрезвычайно талантливым от рождения, дедушка достиг значительных высот ремесла фотохудожника, продолжая и развивая школу Родченко. Его индустриальные пейзажи, панорамы и постановочные кадры, наверное, вписывались в сдававшую на тот момент рубежи концепцию конструктивизма. Для меня все эти загадочные термины тогда, в начале семидесятых, были немногим понятнее слова «халтура», которым бабушка называла дедушкины подработки в качестве реставратора. Много лет спустя увидев дедушкины фотографии на выставке неизвестного русского авангарда, я понял, чего так опасалась бабушка. Она опасалась дедушкиной самостоятельности и независимости от нее, его побегов в область ей непонятную, где нужно было ревновать не к реальным женщинам из крови и плоти, а к невербальным и парадоксальным сущностям, не обладающим ни именами, ни адресами прописки. Ясное дело – я ничего из этого не понимал. Мне были важны лишь те мгновения, когда дедушка раскрывал заветный комод и извлекал на свет сверкающие хромом и синеватым немецким стеклом, пахнущие трофейной кожей фотоаппараты.

Строго говоря, фотоаппараты не были дедушкиными трофеями. Дедушку демобилизовали с фронта в сорок втором году после контузии задолго до трофейной лихорадки. Отправившись добровольцем на фронт в сорок первом, повоевал дедушка совсем немного, меньше года. Фотоаппараты и объективы к ним дедушка покупал на блошиных рынках, тратя деньги скудных заначек, чем приводил бабушку в ярость. Я очень хорошо помню зимнее утро, тусклый свет занимающегося рассвета и дедушку с камерой, имеющей название садового инвентаря. Дедушка стоял, согнувшись, перед окном и следил за голубем на соседней крыше.

Помню, как нас с дедушкой оставили дома одних. Дедушку

Мотю за «старшего по ребенку», а меня просто за «ребенка». Дедушка честно сварил мне манную кашу с комками, которую из мужской солидарности съел сам, прочитал мне вслух главу из «Лорелеи» и, оценив, что засыпать я не собираюсь, решил отправиться с внуком на прогулку. Смутно представляя, что должно быть надето на ребенке в середине ноября, дедушка намотал мне на голову шерстяной бабушкин платок, концы которого заправил в тонкие колготки, вдел меня в заячью шубку, а ноги вставил в красные венгерские сандалии, которые папа привез из командировки в Москву. Дедушка направился в киоск Союзпечати, у метро «Горьковская», покупать любимую «литературку». В то время у метро были установлены аппараты по продаже мороженого. Они были почти в два раза шире аппаратов по продаже газировки и выглядели явно внушительнее. С наступлением осени аппараты закрывали в железные кожухи, и только на «Горьковской» они стояли открытыми до первого снега. Повинуясь ясному желанию баловать внука, дедушка выдал мне двадцать копеек и, обхвативши за живот, позволил опустить их в щель аппарата. Сливочный брикет, выпавший из чрева аппарата, стоил девятнадцать копеек. Копейка, полученная на сдачу, тут же использовалась на покупку воды без сиропа. Я ощущал себя на верху блаженства, дед тоже. Воспаление легких, которое я схватил, было уже четвертым в текущем году, и проходило в теплой и дружественной коммунальной обстановке ворчания бабушки на дедушку, мамы на бабушку, а папы на маму, бабушку и строителей, слишком медленно возводивших двенадцатиэтажный кооперативный дом.

Иногда зимой меня водили гулять в садик, который прячется возле Первого медицинского. Там стояла хоккейная коробка, в которой можно было бегать с пластмассовой клюшкой и кричать «Гол!». Обычно по утрам там не наблюдалось других хоккеистов, кроме меня. Я мог бежать через всю площадку, вдогонку за легкой красной шайбой, представляя, что я хоккеист Якушев. После полного разгрома очередных канадцев я победно скатывался с деревянной горки, которая стояла неподалеку, и катался на скрипучей ржавой карусели. После этого меня, вполне счастливого, брали за руку и вели обедать. По дороге домой мы часто встречали красивого седого дядьку в черном кожаном пальто, которому все говорили «Здравствуйте!». Он тоже всем говорил «Здрасссте», но как-то устало. На мой вопрос, что это за дядька такой, родители каждый раз отвечали: «Райкин». Но я почему-то забывал это странное имя. А однажды вспомнил и на радостях тоже ему проорал: «Здрасайте, Ракин!», на что он

улыбнулся, пожал мне руку и, обращаясь к дедушке, сказал: «Хоккеист растет». Мой дедушка откашлялся и возразил: «Музыкант!» – «Тоже неплохо», ответил Аркадий Исаакович, и мы пошли дальше. Что характерно, ни хоккеист, ни музыкант из меня не получились.

Спустя лет десять Райкин опять пожал мне руку. Я тогда занимался в драматической студии ДК имени Горького и мечтал стать великим актером. В ДК проходил большой райкинский концерт. Нас обрядили в белые пионерские рубашки и сунули каждому по букету цветов, чтобы мы поднесли их Аркадию Исааковичу. Нас запускали по трое после каждого номера, мы добегали до сцены, вскакивали на нее и вручали артисту цветы. Когда пришла моя очередь бежать, то от волнения я споткнулся и чуть не упал. Райкин принял у меня цветы, взял за руку и, наклонившись, сказал: «Спасибо, мои родные, спасибо, мои хорошие». Как от моей бабушки, от него приятно пахло корвалолом и какими-то другими лекарствами.

Подарив цветы, мы вернулись в фойе, где толстая тетка из массового сектора поманила нас за собой. Какими-то коридорами мы попали за кулисы. «Подождите тут», – прошипела она и куда-то скрылась. Я стоял за правой кулисой и смотрел сзади на знакомую по телеящику сутулую спину артиста, привычными узнаваемыми жестами отмерявшего части монолога. Зал хохотал. Монолог окончился, и под гром оваций Райкин направился к нам. Как только он скрылся от зала, в ту же секунду плечи Райкина поникли, голова сильно затряслась. Он передал цветы появившейся откуда-то толстухе из массового сектора, с трудом дошаркал до маленького столика, уставленного лекарствами, махнул из пары пластиковых стаканчиков какие-то микстуры, выдохнул, собрался и молодой пружинистой походкой вновь под аплодисменты почти выбежал к публике. «Боже мой! – подумал я. – Какой он старенький!» Но преображение было действительно фантастическое. Тут к нам подошла тетка с букетами, которые ей передал Райкин. Она деловито выбрала из груды три самых красивых и протянула нам. «Вперед, в зал! После этого монолога подарите», – сказала она, и мы побежали в фойе. И опять подарили Аркадию Исааковичу его цветы, потом еще раз и еще. До сих пор не могу понять, зачем это нужно было делать.

Каждую зиму к нам приезжал дядя Аркаша из Петрозаводска. Он привозил кучу детских книжек карельского издательства, большой полиэтиленовый мешок сушеных грибов и два литра коньячного спирта, залитые в зеленую резиновую грелку. Дядя Аркаша считался дальним родственником.

Я с трудом улавливал смысл выражения «дальний

родственник». Было непонятно, почему тогда тетю Наташу из Варшавы называют близким родственником, в то время как Варшава от Ленинграда дальше Петрозаводска. Я измерил по карте при помощи бабушкиного швейного сантиметра расстояния и заподозрил родителей либо в заблуждении, либо в намеренном обмане. Когда я в очередной раз пристал к папе с этим вопросом, он отвлекся от книжки, нахмурил брови, на секунду задумался, после чего резюмировал: «Может быть, карта неправильная?» Этим он поселил во мне сомнения уже иного рода. Если карты неправильные, рассуждал я ночью, то, наверное, и календарь тоже может быть неправильным. Тогда становилось совершенно ясно, почему каникулы всегда так долго ждешь, а они так быстро проходят. Мне было не заснуть – оказалось, что мир вокруг меня несправедлив не случайно, а преднамеренно. Утром я поделился своими переживаниями с мамой. Мама внимательно меня выслушала, потемнела лицом, налила мне стакан киселя и строгим голосом поговорила с папой по телефону. Придя после работы, папа похвалил меня за логику и растолковал наконец смысл выражения «дальний родственник» на примере того же дяди Аркаши. Дядя Аркаша оказался братом мужа маминой троюродной сестры.

Дальний родственник носил настоящую карельскую фамилию Химанен, имел огромный рост и вьющиеся белокурые волосы, через которые просвечивала розовая лысина. Приезжал дядя Аркаша всегда поздно вечером, когда я уже спал. Родители понарошку отмечали приезд бутылкой грузинского вина и стелили гостю в прихожей на раздвижном кресле, но я все равно всякий раз просыпался от его былинного храпа.

Целую неделю дядя Аркаша рыскал по городу в поисках всякого хозяйственного дефицита, например диска для «цукуляной пилы», оставляя меня у входов многочисленных магазинов «покурить». Я послушно курил, пытаясь плевком попасть в голубей, или считал проезжавшие мимо красные «Жигули». Если к появлению дяди Аркаши «Жигулей» оказывалось поровну в одну и в другую сторону, я радостно сообщал ему об этом. Дядя Аркаша смотрел на меня задумчиво и спрашивал, не хочу ли я в туалет. Я, не понимая его парадоксального мышления, привычно отказывался, и мы отправлялись дальше. Если в магазине нужной вещи не было, дядя Аркаша вступал в беседу с остальными покупателями и выяснял новые адреса. Ленинград он знал не очень хорошо, но это не мешало ему смело забираться в отдаленные уголки Купчино или Озерков.

Однажды мы заблудились. Вернее сказать, заблудился дядя

Аркаша, который принял Фонтанку за Мойку, а Обводный канал за Фонтанку, по набережной которой он намеревался дойти до Невского проспекта. Осознав ошибку, дядя Аркаша решил дойти до Невского по Обводному. Мы шли и шли, Невский нам не попадался, а пейзаж становился все унылее и унылее. Меня в эти места никогда не возили, потому в проводники я не годился. Спрашивать дорогу у прохожих дядя Аркаша категорически не желал. Для поднятия боевого духа он купил мне в гастрономе картонную коробку с кукурузными палочками, а себе – подогретую кружку пива в ларьке. Пока дядя Аркаша пил пиво, я считал «рафики». В каждую сторону проехало по четыре. Я сообщил об этом своему попутчику, на что дядя Аркаша заботливо предложил мне зайти за ларек.

Наконец я устал и вызвался сам узнать дорогу, если уж дядя Аркаша стесняется. Дядя Аркаша согласился, но предупредил меня, что сейчас перейдет проезжую часть, встанет у парапета и сделает вид, что он не со мной, иначе получится некрасиво. Я согласился. Разузнав путь к ближайшему метро, я тоже перешел дорогу и встал подле своего спутника, во что-то пристально всматривавшегося и шевелящего губами во внутреннем диалоге. Наконец проводив взглядом дохлую крысу, плывущую кверху лапками к Неве, дядя Аркаша глубокомысленно изрек: «Худовата. Похоже, из летнего помета».

Когда я был совсем маленьким, праздник «Восьмого марта» был мне симпатичен. Папа ездил затемно к метро и привозил маме веточку мимозы, которую покупал у специальной возлеметрошной цыганки. Мама вставала в десять часов, удивлялась цветам, радовалась моему рисунку из серии «мАя мамАчка», целовала папу, обнимала меня и готовила праздничную вермишель с сыром, которую мы с папой очень любили. Потом все долго и радостно собирались в гости. Мы с мамой ехали к бабушке, а папа «поздравлять тещу». Но бабушка так нас хорошо кормила, что до тещи папа уже не доезжал. Мне всегда было эту незнакомую тещу жалко, потому как она оставалась и без папиных поздравлений, и без цветов, которые папа менял у бабушки на бутерброды с черной икрой и пироги с маком.

Черную икру в детстве я называл «семочка». Этой семочкой бабушка кормила меня особо основательно, проиговаривая: «Весной авитаминоз, тебе нужно для здоровья». Потом для здоровья я уплетал огромную тарелку салата, тарелку супа на свином бульоне и второе. К пирогам я подходил уже совсем здоровым. Пока родственники поднимали тосты «за наших милых

женщин», я как заведенный скатывался с головы белого медведя, который лежал у бабушки на полу в виде шкуры. Медведь смотрел на мир поддельными желтыми стеклянными глазами и скалил настоящие желтые клыки без кариеса. Время от времени меня подзывали к столу, где давали очередной бутерброд с красной рыбой.

Вообще, мне не нравились бутерброды с рыбой. Я любил бутерброды с сыром и колбасой одновременно. Но из уважения к бабушке я давился рыбой и делал вид, что меня все устраивает. Ибо, если бы я посмел капризничать, меня бы к медведю обратно не пустили, а начали бы воспитывать. А если бы меня начали воспитывать, это бы уже был не праздник «Восьмого марта», а обычный день, причем далеко не лучший…

Кстати, о воспитании… Меня особенно и не воспитывали. Зачем воспитывать ребенка, если он и так воспитанный? Только брат бабушки дядя Саша считал, что мое поведение требует коррекции. Он был очень известным адвокатом, не курил, занимался спортом и имел деревянную ногу. Настоящую ногу у него отрезали на войне, а потом в госпитале выдали деревянную. Воспитывал дядя Саша меня так, что моим родителям казалось, что воспитывают их. Мама в самые драматичные моменты воспитания всплескивала руками и убегала на коммунальную кухню якобы «ловить чайник», а папа краснел и ерзал на соседнем стуле. Папа вообще терпеть не мог чужих поучений, но к дяде Саше относился с уважением, переходившим в священный ужас. До того, как стать адвокатом, дядя Саша работал прокурором. Прокурор, как мне объясняла мама, это еще главнее и страшнее милиционера. Меня, конечно, заинтересовало, чем же это таким страшнее. Со свойственной мне логикой, я предположил, что если милиционеры ходят с пистолетами, то прокуроры явно с автоматами. И, конечно же, исполнился уверенности, что дядя Саша прячет автомат в деревянной ноге!

Однажды летом на даче, когда дядя Саша, приняв полстаканчика домашней наливки, завалился вздремнуть до обеда, я прокрался в его комнату. Протез стоял, прислоненный к письменному столу рядом с диваном, на котором храпел дядя Саша. Я как завороженный смотрел на сложный, почти космический механизм искусственной ноги. Впрочем, сама нога меня интересовала мало. Меня манил спрятанный в ней автомат. Нужно было каким-то образом, не поднимая шума, вытащить его оттуда. Обхватив протез обеими руками, я потихонечку стал отступать из комнаты, но споткнулся о порожек, упал, звезданулся затылком о поручень лестницы и скатился по

ступенькам до самой веранды. На грохот сбежалось полтора десятка родственников. Я лежал в обнимку с протезом и думал, что теперь уж меня точно отправят стоять в крапиву. Но попало не мне, а дяде Саше за то, что он «везде раскидывает свои костыли, так что детям не пройти». Дядя Саша хлопал глазами, пожимал плечами и извинялся. В знак своей доброй воли он пообещал взять меня в лес за грибами, а потом свозить в «Запорожце» на пруд. Я великодушно согласился. Кстати, я успел заметить – автомата в протезе не оказалось.

А в Ленина я не верил. В комиссаров с пыльными шлемами и вошью окопной в штанах верил, а в Ленина как-то не получалось. Впрочем, если Каюров играл, то совсем не верил, а если Лавров, то уже начинал сомневаться. Лавров жил неподалеку на Горьковской, и его частенько можно было видеть в гастрономе рядом с домиком Петра Первого.

Он когда спрашивал, свежая ли колбаса, совсем по-ленински прищуривался. Продавщицы, понятное дело, млели и начинали вытаскивать из-под прилавков всяческий незалежалый дефицит. Рядом с мясным отделом всегда кошки спали, потому ребенка там оставляли спокойно, пока родители бегали от кассы до отделов с чеками в руках. И Лаврова я там много раз видел, очень много, больше трех точно. С тех пор у меня с Лениным какая-то особая колбасно-кошачья ассоциация. Говоришь «Ленин» – подразумеваешь «Докторская».

У папы был приятель дядя Гоша, который в народном театре играл. Однажды ему доверили эпизодическую роль вождя мирового пролетариата. Дядя Гоша в партии не состоял, любил пить водку и вообще являл собой пример интеллигента-разложенца, любящего послушать Би-би-си и рассказать анекдот про Брежнева. Но против всех остальных актеров театра у дяди Гоши существовало огромное преимущество – настоящая блестящая лысина. На премьерный показ пригласили моих родителей, понятное дело, вместе со мной. Спектакль помню плохо. Но прекрасно запомнил, как пьяный дядя Гроша в гриме и с красным бантиком на лацкане ловил такси, громко крича на всю улицу: «В Смольный, едренать! В Смольный!»

На кафедре, где я учился, висел тканый портрет Ленина с китайскими иероглифами внизу. Что те иероглифы обозначали, можно было только догадываться. Мы полагали, что написано: «Мао Цзэдун» или «Отец китайской тушенки». Ленин на портрете представал в хунвейбиновской кепке и с характерным прищуром. Портрет тот подарил кафедре китайский аспирант Джень Жуань. Слыл он парнем скромным и застенчивым. Вроде как даже в

партии их китайской состоял. Его однажды на факультетское партсобрание пригласили с докладом про положение дел в Китайской Народной Республике. После собрания он, правда, засомневался в правильности марксизма. Собрание, по слухам, очень быстро переросло в скандал по поводу денег на учебную практику. Одного старого большевика декан публично обозвал старым козлом, а на напоминание секретаря, что надо бы заслушать доклад китайского аспиранта, гавкнул: «Товарищ Дон Жуан нас извинит. Нам не до воробьев сейчас. Тут вопросы серьезные решаются».

А когда началась перестройка, первым делом университетский коридор осиротел на гипсовую статую Ленина, из руки которого каждый вечер уборщица привычно изымала граненый стакан и относила его в буфет. На пустом постаменте неделю лежал скромный листок в клеточку с накорябанным синими чернилами текстом: «Я в Цюрихе. Адрес прежний. В.»

Папиных друзей обычно звали дядями Мишами и дядями Славами. Дяди Миши все поголовно пили водку, а дяди Славы портвейн. И те, и другие работали инженерами, любили книги, собак и Би-би-си.

Практически каждый выходной папа отправлялся на книжную толкучку, располагавшуюся на задворках магазина подписных изданий на Литейном проспекте. Это называлось «пойти в Садик». По всему «Садику» на разноцветных клеенках лежали книги. Возле клеенок стояли дядьки в болоньевых куртках с перфокартами, торчащими из карманов. На перфокартах убористым почерком обозначались интересующие издания. Между клеенок сновали другие дядьки, с такими же перфокартами в руках и спортивными сумками на плече. Книгами обычно менялись. Например, за «Королеву Марго» можно было просить пару книжек из серии «Зарубежная фантастика» или «Аэропорт» Хейли. За один томик «Библиотеки приключений» отдавали двух Битовых и одного Думбадзе, а за одного Пикуля требовали одного Платонова или трех Житинских. Вообще, у книжников была разработана целая система измерения ценности издания, мне совершенно непонятная. Однажды за вожделенного мной тонюсенького Дональда Биссета папа выложил огромный двухтомник «Блокада», написанный, как мне тогда казалось, известным композитором Чайковским.

После «Садика» папа шел с дядями Мишами на угол Владимирского и Литейного проспектов в кафе со странным названием «Сайгон», где пил кофе и водку. Водку дяди Миши разливали под столиками в бумажные стаканчики. Закусывалось

это обычно сладкими песочными полосками. Мне за терпение, немногословность и «тсс, маме ни слова» тоже полагалась такая полоска. Я сидел на бетонном подоконнике, жевал полоску и рассматривал картинки в свежеприобретенной книжке.

Дяди Миши, дяди Славы и папа за столиком обсуждали какие-то непонятные мне проблемы. Часто к ним присоединялся дядя Сережа Журналистдовлатов, и тогда мы все перемещались на Малую Садовую улицу в кафе, где мне покупали сок и пирожное буше. Дядя Сережа разливал под столом лимонад для взрослых – «портвейн», а дяди Славы с дядями Мишами подмигивали мне и обещали взять с собой на рыбалку, на охоту, в искпедицию и в кино смотреть про бонюеля. Потом они меня, конечно, никуда не брали. Если я пытался им напомнить про обещания, дяди Славы с дядями Мишами начинали как-то нервничать и ссылаться на отчеты, диссертации, разводы с женой и прочие, ничего не значащие для меня аргументы. Один дядя Сережа Журналистдовлатов ничего не обещал. Он вытаскивал из кармана зеленой куртки трехцветную шариковую ручку и одноразовую биковскую зажигалку, протягивал все это богатство мне и говорил: «На, герой! Пиши и сжигай. Пиши и сжигай».

В конце августа девяностого года я вернулся в город с Полярного Урала. В квартире пахло пирогами и болгарским перцем. Я сидел в своей комнате и перебирал коробку со старыми фотографиями, какими-то записками, огрызками стихов, билетами, календариками, перфокартами с начириканными на них телефонами каких-то Лен и Марин. На дне валялись засохшие фломастеры, цветные карандаши и старая биковская зажигалка. Я собрал весь этот хлам и без сожаления выкинул в помойку. А вечером по радио передали, что в Америке умер русский писатель Сергей Довлатов…